

84(3)Укр  
сб 83

И. ФРАНКО

# МАЛЕНЬКИЙ МИРОН



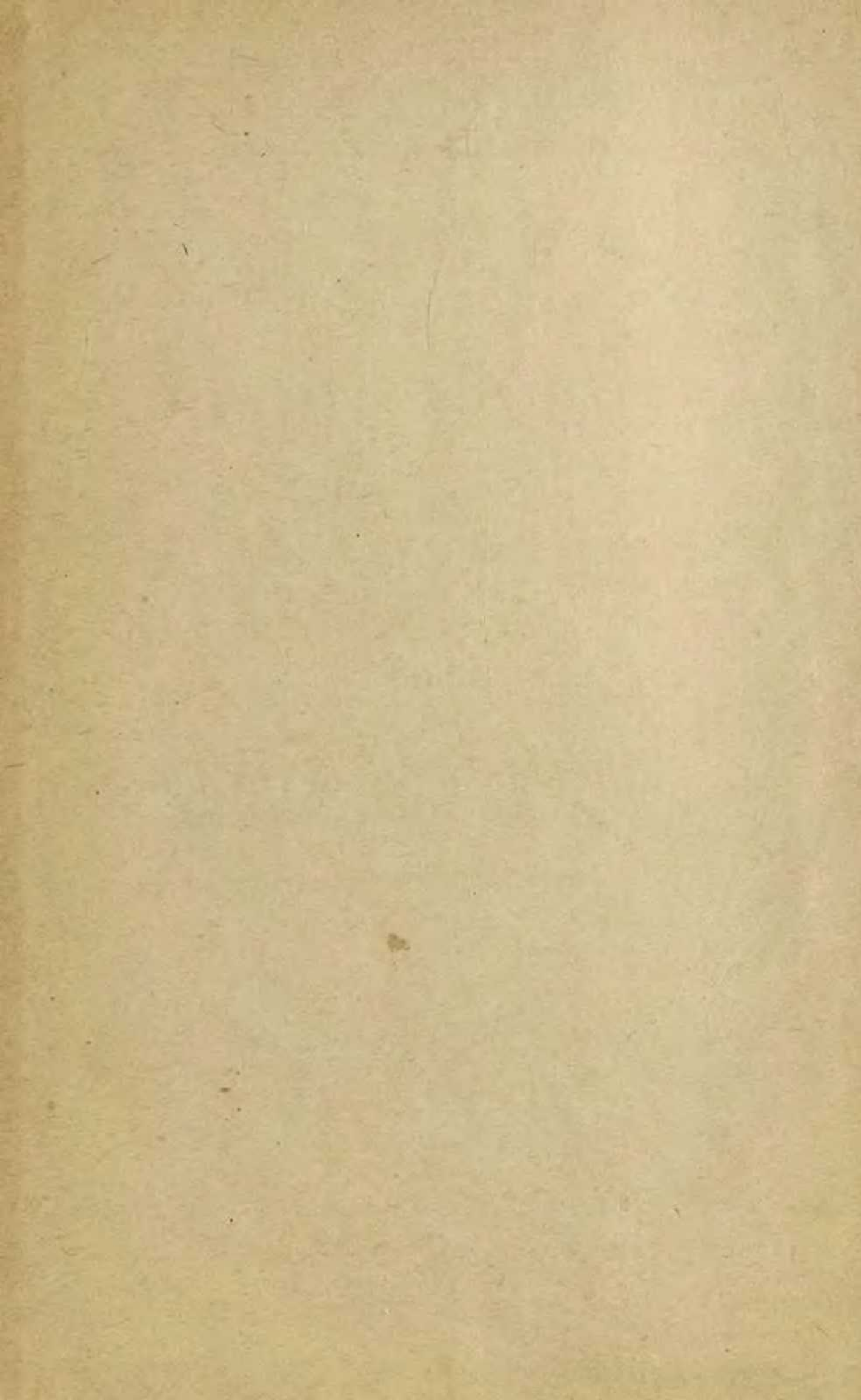
ДЕТГИЗ

**ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ**  
обозначенного здесь срока

[illegible]









Ф-83

8 4(3) UKP  
+ 83



ИВАН ФРАНКО

# МАЛЕНЬКИЙ МИРОН

*СБОРНИК РАССКАЗОВ*

Перевод с украинского

*Рисунки*  
**Е. РАЧЕВА**

НАРЕКОМПРОС РСФСР  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1941 Ленинград

34766

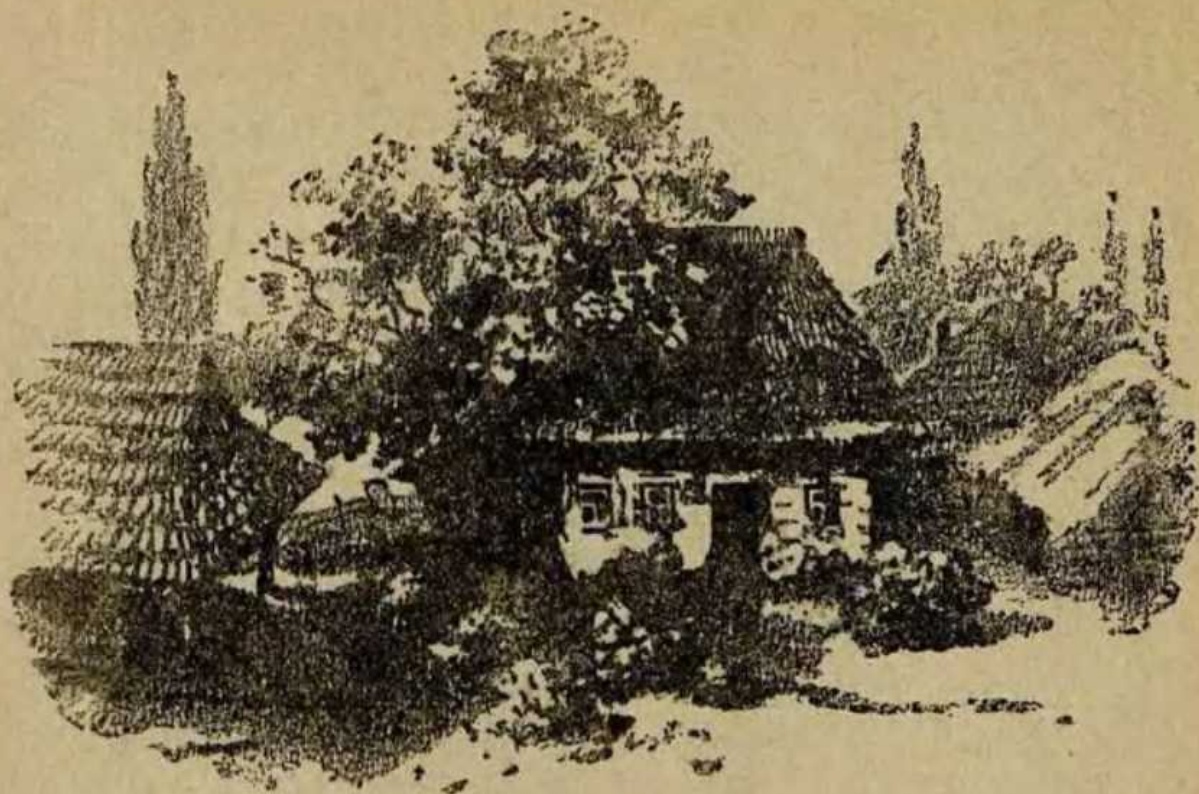
1957-58 г.

~~НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДОМА ДЕТСКИХ КНИГ  
ДЕТГИЗА~~

679222 ч/3 р/к

Российская государственная  
детская библиотека





## МАЛЕНЬКИЙ МИРОН

### I

Маленький Мирон удивительный ребенок. Отец не нарадуется на него и говорит, что он на редкость умное дитя. Но отец, известное дело, пристрастный судья, да еще отец Мирона — человек уже немолодой, едва дождался ребенка, и, значит, какой уж там ни будь ребенок, а для него он и золотой, и умный, и красивый. Соседи шептались между собой, что Мирон «не похож на людей»: идет, руками размахивает, бормочет про себя, прутиком по воздуху машет или сбивает головки с репейника и ласточкиной травы. Среди других детей он робок и неловок, а если и откроет рот, то такого наговорит, что старшие только плечами пожимают.



Маленький Мирон больше всего любит бегать один по зеленым цветущим лугам среди широколистных лопухов и пахучих ромашек, любит упиваться сладким запахом росистого клевера и украшать себя цепкими шишками лопуха, которыми он покрывает себя с ног до головы. А еще сильно манит к себе Мирона речка, что протекает между огородами и пастбищем, маленькая беспокойная горная речонка с высокими крутыми берегами и журчащими отмелями, дно которых покрыто мелкими камешками, обросшими мягкими длинными водорослями, похожими на зеленые шелковистые пряди. Мирон любит сидеть там целыми часами, притаившись в высоких зеленых камышах или в густых лапчатых листьях прибрежного белокопытника. Он сидит и всматривается в журчащую воду, в колышущуюся под напором волны траву, рассматривает вьюнов, что время от времени вылезают из своих нор или выплывают из глубокого плеса и мечутся по дну, шныряя за водяными червяками, или высовывают из воды свои тупые усатые мордочки, глотают воздух и спешат укрыться в свое убежище, будто отведали нивесть какое лакомство. А в безоблачном темноглубом небе сияет солнце, греет плечи и все тело Мирона, но не жжет его в тени широких листьев.

Хорошо Мирону! Быстро бегают его небольшие серые глазенки, хмурится ребячий лоб, зарождается мысль: «Вот солнышко, почему оно маленькое, а татуня говорит, что большое? Наверное, в небе такая маленькая дырочка прорезана, что его только чуть-чуть видно!»

Но сейчас же в голове Мирона появляется

и другая мысль: «Ба, да как же это так? Где всходит — маленькая дырочка, а где заходит — там тоже дырка? Разве дырка вместе с солнцем ходит по небу?»

Это не укладывается у него в голове, и он решает спросить дома татуню, какая же дырка прорезана в небе для солнца.

— Мирон, Мирон! — слышится издалека крик. Это зовет мать.

Мирон услышал, вскочил и сбежал с бережка к броду, чтобы перейти через речку, и вдруг остановился. Много раз он уже переходил речку в этом месте, и все ничего, а теперь сразу что-то новое бросилось ему в глаза. Стоя против солнца, он посмотрел в воду и увидел вместо гладкого дна, камешков и мягких зеленых прядей водорослей бездонную глубокую синеву. Он еще не понимал, что это небо отражается в воде, и остановился.

Как же идти в такую глубину? И откуда она взялась тут? Он стал и начал внимательно рассматривать глубину. Все то же. Он присел. Ничего не изменилось — только возле берега видны знакомые камешки и слышно обычное приятное журчание воды на отмели. Он повернулся лицом в другую сторону от солнца — глубина исчезла, брод стал мелкий, как всегда. Это открытие обрадовало и удивило его. Он начал поворачиваться во все стороны, забавляясь удивительным явлением. А о том, что мама его звала, совсем забыл.

Долго стоял так маленький Мирон, то поворачиваясь, то наклоняясь над бродом, но лезть в воду все не решался. Ему все казалось, что вот-вот посреди мелкого каменистого брода расступится земля и под речкой, между высокими берегами зазияет бездонная голубая







глубина и он полетит в эту глубину далеко-далеко, исчезнет в ней, как щепка, брошенная в глубокий темный колодец. И кто знает, как долго стоял бы он над бродом, если бы не подошел сосед Мартын, который с граблями и вилами торопился на луг!

— А ты чего тут стоишь? Вон мать тебя кличет. Почему не идешь домой?

— Я хочу пойти, да боюсь.

— Чего?

— Да вот глядите, — и он показал на бездонную синеву воды.

Мартын не понимал:

— Ну так чего же тут бояться? Ведь мелко.

— А такая глубина?

— Где тут глубина? — сказал Мартын и, как был, в постолах, перешел через брод, едва замочивши их.

Это придало смелости Мирону, он перешел речку и побежал через огороды домой.

— Какой глупый парнишка! Пять лет уже, а броду боится, — буркнул сосед и пошел на сенокос.

### III

Когда летом старшие уйдут из хаты в поле, Мирон остается один, но только не в хате. Там он боится. Боится «дедов по углам», то есть теней, боится пузатой печи, черной внутри от сажи, боится толстой клюки, вбитой в окошечко, сделанное в потолке для выхода дыма от лучины, которой освещают зимой хату. Мирон остается во дворе. Там он может гулять, рвать траву, строить хатки из щепок и палочек, а то и просто лежать на завалинке, играть на солнышке да слушать чириканье воробьев на



яблоньках и глядеть в синее небо. Хорошо ему... Но на ребячий лоб снова набегает тучка — это приходит мысль.

«А чем же человек все видит? И небо, и землю, и тату с мамой? — ни с того ни с сего возникает вопрос. — Или чем слышит? Вон утка крикает, куры кудахчут... Как это я все слышу?»

Ему кажется, что человек делает все это ртом — и видит и слышит. Он раскрывает рот: так и есть — все видно, все слышно...

«А может быть, нет? Может быть, глазами?»

Зажмуривает глаза. О, ничего не видно! Раскрывает: видно и слышно. Зажмуривает снова — не видно, но слышно.

«Эге! Так вот оно как! Видно глазами, а чем же слышно?»

Снова раскрывает и закрывает рот — слышно! Потом глаза — все слышно. Но вот ему приходит в голову заткнуть пальцами уши. Шум-шум-шум. Что это такое? Слышен шум, но не слышно ни кудахтанья кур, ни криканья утки. Он отнимает пальцы — слышно кудахтанье, а шума нет. Еще раз — то же самое.

«Что же это такое? — размышляет Мирон. — Эге, уже знаю. Ушами я слышу кудахтанье, а пальцами слышу шум. А то как же иначе?»

Пробует раз и другой — то же, опять то же.

А когда жнецы приходят на полдник, он вирипрыжку подбегает к отцу.

— Татуню, татуню, я что-то знаю!

— Что же, мое дитяtko?

— Я знаю, что человек видит глазами.

По отцовскому лицу пробегают улыбка.

— А ушами слышит кудахтанье, а пальцами шум.

— Как, как?

— Да так: если не заткнешь уши пальцами, то слышно, как курица кудахчет, а если заткнешь, то только шум.

Отец расхохотался, а мать, взглянув на Мирона, сказала, грозя ему ложкой:

— Уходи, дурной, уходи! Такой большой парень, женить пора, а говорит глупости! Почему ты никогда сперва не подумаешь, что сказать, а всегда такое ляпнешь, что уши вянут! Ведь человек все слышит ушами — и шум и кудахтанье.

— А почему же все вместе не слышит? Ведь если не заткнешь ушей, так слышно кудахтанье, а если заткнешь, так шум? — спрашивает малыш. — Вот попробуйте сами! — И он в доказательство затыкает уши пальцами.

Мать проворчала еще что-то, но ответа на этот вопрос не нашла.

#### IV

Большая беда была у Мирона с этим обдумыванием. Не умел он думать, да и все! Что бывало ни скажет, все не так, как надо, все мать или кто-нибудь другой говорит:

— Да почему же ты, дурачок этакий, не подумаешь сперва, что сказать, а ляпаешь, словно рыбак по воде веслами?

И как бедный Мирон ни мучился, чтобы подумать, а потом сказать что-нибудь умное, не выходит, да и все! И Мирон наконец убедился, что он не умеет думать.

Как-то раз сидит вся семья за обедом вокруг большого стола посреди хаты. Мать подает капусту. Вкусная капуста, с салом, с кашей! Все едят молча. Маленький Мирон проглотил раз, другой, а потом удивился, почему это так тихо



в хате, никто и слова не скажет. И ни с того ни с сего ему начинает казаться, что вот именно теперь ему надо что-нибудь сказать. Но что бы сказать? Надо сперва подумать, а то все будут смеяться, а мама рассердится. И маленький Мирон начинает думать. Ложка, которую он нес от рта к миске, так и застыла в воздухе вместе с рукой. Глаза неподвижно уставились в пустое пространство, а затем невольно остановились на иконе божьей матери, которая висела на стене; лишь губы шевелятся, будто шепчут что-то.

Работники, увидев это, переглянулись между собой, подтолкнули друг друга локтями, а служанка шепнула старому Ивану:

— Гляди, он сейчас какую-нибудь глупость выпалит.

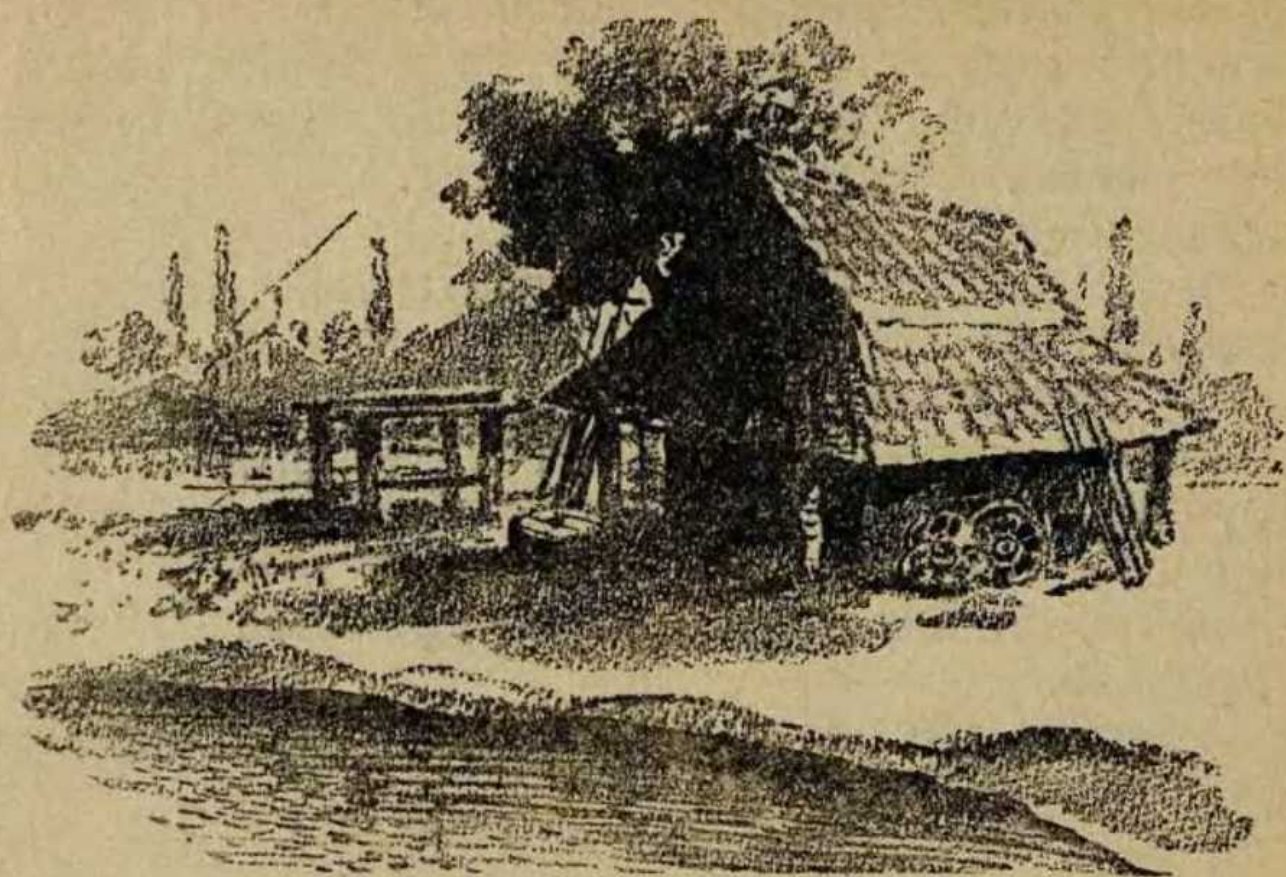
— Вы не знаете, — медленно начал Мирон, — почему это святая матушка смотрит, смотрит, а капусты не ест?

Бедный Мирон как ни старался, не мог ничего лучшего придумать, может быть и потому, что его заставляли думать, «как все люди».

Смех, хохот, обычные материнские упреки, обидное название «дурачок»... Бедный Мирон заплакал.

— Что же делать, если я не умею думать, как все люди! — сказал он, вытирая слезы.





## В КУЗНИЦЕ

На дне моих воспоминаний, где-то в самой глубине, горит огонь. Неяркое, но сильное пламя освещает первые контуры, которые выступают из темноты детской души. Это огонь кузницы моего отца.

Как сейчас, вижу железную лопатку, которой отец набирает из деревянного ящика уголь (этот уголь он сам обжигал в яме за хатами) и бросает его в горн, где уже лежит принесенная в черепке из хаты горсть раскаленного жару, потом со своей обычной торопливостью обращается к работнику:

— Ты-ты-ты, Андрусь, а ну дуй, да полегче, легче, пока разгорится.

Андрусь, тот самый, что на своих плечах принес меня из хаты и посадил на угольный



ящик возле горна, хватается за жердь меха и начинает дуть. У меха сперва какое-то короткое дыхание, он еще не набрал воздуха, еще не начал работать как следует. Он раздувает угли, но огонь не разгорается.

— Полегче, Андрусь! Ты-ты-ты, хло<sup>1</sup>, полегче!

— Это еще дикая баба фыркает, — говорит шутя Андрусь и изо всей силы налегает на ручку, чтобы набрать в мех как можно больше воздуха.

Упоминание о дикой бабе пронизывает меня дрожью.

— Где же эта дикая баба? — спрашиваю я. Андрусь смеется.

— В мехе. Разве ты не слышишь, как она фыркает?

Я прислушиваюсь — правда, фыркает.

— погоди, вот я ее как следует надавлю, — говорит Андрусь, — так она будет стонать.

— Я не хочу! Не дави! — кричу я.

Мне хочется заплакать. Я не понимаю шуток Андруся. Мое воображение заселено привидениями, упырями, призраками, о которых каждый вечер за прялкой рассказывают служанки — большая Остина и маленькая Остина. Они упоминали не раз и о дикой бабе, которая сидит в долине и пускает оттуда клубы дыма. Андрусь первый поместил ее в кузнечный мех, и с тех пор этот мех наполняет меня страхом.

— Но-но-но, ты, хло! Не говори глупостей ребенку. Не слушай, Ивась, не слушай. В мехе нет никакой дикой бабы.

— А что же там так сопит?

— Это ветер, сынок. Видишь, мех набирает

---

<sup>1</sup> Сокращенное от «хлопец» — парень.



ветер, и если его сдавить, он дует. Смотри, и я так могу дуть!

И отец раза два дует в огонь.

Я успокаиваюсь. Огонь разгорается. Сперва его синие язычки боязливо показываются из-под угля. Но дикая баба начинает дуть сильнее. Синие язычки у основания краснеют и со всех сторон выскакивают из угольной кучи. Понемногу черный уголь и сам делается красным, пламя шипит и выпрямляется, становится похожим на связку блестящих ножей или стрел. Но дикая баба уже надула чуть ли не до самой стены свой кожаный живот. Андрусь напирает на жердь меха грудью, обеими руками и животом. Огненные ножи внизу белеют, уголь из красного делается золотым, прозрачным, будто плавится. Я не могу оторвать глаз от этого костра, который едва разгоняет сумрак небольшой деревянной кузницы, но зато плюет огромными искрами в нависший похожий на корыто, обмазанный глиной и обвешенный сажей потолок и кроет в себе большое тепло и большую рабочую энергию.

А отец уже стоит у наковальни, берет в руки свой небольшой молоток и несколько раз быстро, раз за разом, как барабанная дробь, ударяет по наковальне. По всему поселку проносится этот звук — знак, что в кузнице начинается работа.

Отец вытаскивает из-под меха разные ящики со всевозможным железом. Тут зазубренные топоры, которые надо исправить; вот один выглядит будто гуляка с проломленной головой — у него разбит обух, придется наново «пересыпать», как говорит отец на своем образном языке. А вон возле дверей плуг надо починить. У кузницы под небольшим навесом

возле точильного станка стоит пара колес от телеги — их принесли оковать, там же лежат и полосы нового железа для обручей.

Отец был кузнец, известный на все окрестные села. Особенно славились его топоры. Спустя тридцать лет после его смерти один старик из другого села, разговорившись со мной и вспоминая отца, сказал:

— Нет теперь уже таких кузнецов. У меня еще и теперь есть топор его работы. Душа, а не топор!

Когда сигнал отца, сыгранный молотом на наковальне, разносится по слободе, — как всегда, начинают сходиться соседи. Работы в кузнице было больше всего зимой; летом были лишь два коротеньких сезона: «плуговой» и «серповой». Летом отец открывал кузницу лишь тогда, когда случалась какая-нибудь спешная и большая работа.

Зимой в хозяйстве мало работы. Кое-где на гумне стучат цепи, в сенях визжат пилы или жужжат коловороты, работа не спешная. А в кузнице весело. Кто приходил с большой работой — телегу наладить или сделать топор, никогда не забывал захватить за пазухой бутылку водки. К кузнецу шли как к соседу в гости, а не как к мастеру — кончил работу и будь здоров: «Я тебя не знаю, и ты меня не знаешь». У отца никакой таксы за работу не было: «Что людям, то и мне», а нет наличных, так и подождет. Отец любил, чтобы в кузнице было шумно, весело. В большой компании, за веселыми разговорами и чаркой водки ему и работалось лучше. Да иной раз и помощники нужны. Вот хотя бы обручи натягивать на колеса: три-четыре мужика хватают большие толстые палки с железными крюками; два



других и отец — третий — длинными клещами несут раскаленный обруч, кладут его на обод. А те, с палками, защемляют железо крюками, упираются концом палки в ободья и изо всей силы начинают тянуть вниз. Отец берет большой молот и ударяет где нужно. Дерево обода от прикосновения раскаленного железа кое-где вспыхивает пламенем, но оно быстро гаснет.

— Ну-ну!.. Ты-ты-ты... — слышно бормотание отца перемежку с ударами молота то о железо, то об обод и со стуком крюков, которые тянут обруч в разные стороны.

Затем три-четыре человека хватают такие же большие молоты и начинают в такт с молотобойцем набивать натянутый на обод обруч. Луп-цуп-цуп! Луп-цуп-цуп! — раздается на всю слободу, пока обруч не станет окончательно на свое место.

Старые хозяева глазами знатоков оглядывают колесо, присматриваются, хорошо ли натянут обруч, на своем ли месте каждая спица, крепко ли в колесе поставлена ступица. То один, то другой поднимает колесо вверх здоровенной рукой, слегка бросает его и прислушивается к стуку.

— Колесо, как колокол, — повторяют они один за другим.

Это высшая похвала кузнецу!

А в кузнице все стонет дикая баба, огонь в горне совсем белый; в середине он переливается золотом и разбрасывает продолговатые косматые искры — зындры. Это «варится» будущий топор.

Отец бросил в костер две полных пригоршней гвоздей, старомодных, ручной работы гвоздей из кованого железа, прикрыл их углями и поставил дуть, кроме Андруса, еще одного



человека. Таков уж порядок у отца в кузнице: кто пришел, сиди, разговаривай, дойдет до угощения — и тебя не обойдут, но уж когда надо помочь, отец тогда не церемонится: «Ты-ты-ты, хло!» (если это молодой парень) или: «Кум, а кум! Ну-ка, за молот!», или к меху, или еще куда потребуется. В таких случаях и моя маленькая особа становилась предметом его заботливости. Когда надо было положить на наковальню большой сильно раскаленный кусок железа, от которого с треском сыпались большие искры, отец всегда просил кого-нибудь из присутствующих: «А ну-ка, заслоните мальчика».

Я очень боялся этих искр, но любил смотреть, как они, словно рой огненных шмелей, вылетали из-под отцовского молота и брызгали во все стороны, особенно когда надо было сварить два куска железа в один.

Расплавленные в горне гвозди отец сбил в одну грудку, из которой выковал длинную полосу в полторы пяди длиной и три пальца шириной. Потом загнул ее на круглом углу наковальни, а концы склепал вместе. Наступил самый важный момент в выделке топора: надо было сделать хороший, крепкий обух, сварить, выковать и наострить лезвие. Согнутая толстая полоса снова шла в огонь, и когда она разогревалась добела, в ее бесформенное отверстие надо было вбить обушницу — железное приспособление для обуха. В топорах, сделанных отцом, обухи никогда не трескались и не разваливались, а это очень большое достоинство для топора, который в хозяйстве часто служит и молотом и колуном.

Вместе с обушницей топор снова шел в огонь, но в каком виде! Место, где оба конца





НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДОМА ДЕТЕЙ И ЮНГ  
ДЕТГИЗ



полосы сходились вместе и где должно было возникнуть лезвие, было сплошь залеплено жидкой глиной, для того чтобы железо крепче сварилось. Положенный в огонь топор отец заботливо прикрывал горящими, а потом еще и свежими угольями. А эти угли кропил водой, в которой тоже была разведена глина, — так получалось больше тепла. И дикая баба начинала стонать изо всей силы, до тех пор пока из костра вместе с обычными угольными искрами не начинали вырываться ярко-белые зындрь. Нет, даже не до тех пор. А вот когда зындрь вылетали из костра густыми роями, это означало, что железо сварено как следует. Отец не спеша брал клещами раскаленное железо, сбивал с него молотом глину и уголь, клал на наковальню и несколько раз слегка ударял своим молотком. Эти легонькие удары, казалось мне, были полны таинственных чар. От каждого такого удара по всей кузнице разлетались большие рои зындрь. И хотя я в такие минуты сидел, как обычно, на своем возвышении, заслоненный от наковальни плечами какого-нибудь здоровенного «дядьки», мои глаза из моего надежного убежища бегали по всей кузнице, следили за каждой зындрой и не отрывались в то же время от железа, которое под ударами отцовского молота принимало все более определенную форму. Придав мягкому железу нужную форму, отец подмигивал присутствующим, особенно молодежи, и приговаривал:

— Ты-ты, хло! Ну-ка, за молот! А ну, поживей!

Два человека хватали здоровенные молоты и били в такт по железу. Луп-цуп-цуп! Луп-цуп-цуп! — звучали удары трех молотов. Малень-



кий молоток отца тоненько, а два других басом, сварливо, будто сердясь.

Лезвие было сварено; но теперь у отца начиналась детальная работа: снова над обухом, пока не дошло до того, что можно было вынуть обушницу, а потом над лезвием и над острием. Отец ковал и перековывал каждую часть по несколько раз, заботясь не только о форме, а особенно о том, чтоб железо было ровно и крепко выделано, нигде не было шероховатостей, чтоб топор выглядел «как вылитый».

В кузнице идет разговор. Соседи делятся сельскими новостями: кто что слышал в окружном правлении, что видел на базаре в Драгобыче, что рассказывал нищий-странник. Усердный, знающий свое дело работник, отец любил посмеяться над дармоедами, бездельниками, разинями и крикунами. В подтверждение своих взглядов он любил приводить коротенькие рассказы и притчи, конечно из жизни кузницы. Тут я впервые услышал рассказ о мальчике, которого отец отдал кузнецу в обучение, но, опасаясь, как бы «ребенок не обжегся или искра не выжгла ему глаз», просил кузнеца поместить сына в корзину, прибитую к стене. «Пусть он присматривается ко всему да учится». Мальчуган «учился» таким образом семь лет, а вернувшись к отцу, вместо лемеха для плуга сделал «пшик».

Желающих послушать было много, но были среди наших соседей и замечательные мастера-рассказчики. Сыпались анекдоты, воспоминания из далеких времен — о неурожайных годах, о странствованиях наших крестьян на работу в Подолье или за кукурузой на Покутье и на Буковину. Собственные приключения

переплетались с короткими и меткими характеристиками людей: подолян, гуцулов, бойков, и местностей: Коломыи, Городенки, Садогоры, Черновиц.

Но вот топор готов. Еще раз накаляет его отец, но лишь докрасна и всовывает острие на два пальца в холодную воду — оно закаляется. Потом топор идет на сверлильный станок под напильник, где его шлифуют, и наконец на точило — оттачивать, и вот неразлучный друг крестьянина — в лесу ли, у плуга, или в пути, везде, где нужна помощь рукам — готов.

Кузнец радостно смотрит на свою работу, любит ее несколько минут, а потом передает соседям. Так переходит новый топор из рук в руки. Каждый осматривает обух, пробует пальцем острие, щупает лезвие, хорошо ли выковано, тщательно оглядывает весь, как будто бы это его собственный топор.

— Ну, этот проживет долго, — говорит один.

— Эх, мне бы теперь те дубки, которые он вырубит! — вздыхает другой.

Счастливейший владелец нового топора смотрит на него с любовью, гордостью. Он видел, как его делали, с самой первой минуты, когда этот топор был еще пригоршней старых гвоздей. Он помогал дуть в мех, бить молотом. Этот топор отчасти дело его собственных рук. Заказчик весело благодарит кузнеца, достает из мешка плоскую бутыл с полквартой водки. Отец велит принести из хаты чарку, буханку хлеба, полкруга сыра на деревянной тарелке — начинается угощение, «вспрыскивание» нового топора. Отец выпивает чарку водки, закусывает и берется за новую работу; остальное общество



угощается, разговаривает, шутит. Один мечтает:

— Если бы мне две-три сотенки, я бы вот что сделал, я бы показал!

Другой считает, сколько денег в этом году прошло через его руки.

— Двенадцать десятков, ей-богу, куманек! Двенадцать десятков, как один крейцер! Какая бы могла быть пара волов! А так что? Между пальцами уплыло. Человек не ел, не пил, не франтил, лишь чортовой матери угодил.

— А что, кум Марко, — обращается кто-то к нашему простодушному соседу, — если бы вам теперь этих двенадцать десяточек, что бы вы сделали?

— Я... я... я... — заикается Марко, — уж я бы... бы... бы... зна-на-нал, куда их спрятать!

— Наверно, завернули бы в тряпочку да и засунули куда-нибудь под стреху! — шутит кое-кто.

Марко и не пытается возражать, только головой качает: смейтесь, мол, на здоровье, а я все знаю!

Другие советуются о своих домашних делах: у того корова пала, у другого ребенок кашляет, иной хвалится, что намолотил вчера с полкопны пшеницы пять четвериков. Всяких пересудов, злословия насчет отсутствующих отец не терпел, и когда у кого-нибудь язык поворачивал в эту сторону, он умел ловким замечанием или шуткой дать разговору другое направление, а младших просто обрывал: «Не суй носа в чужое просо!»

\* \* \*

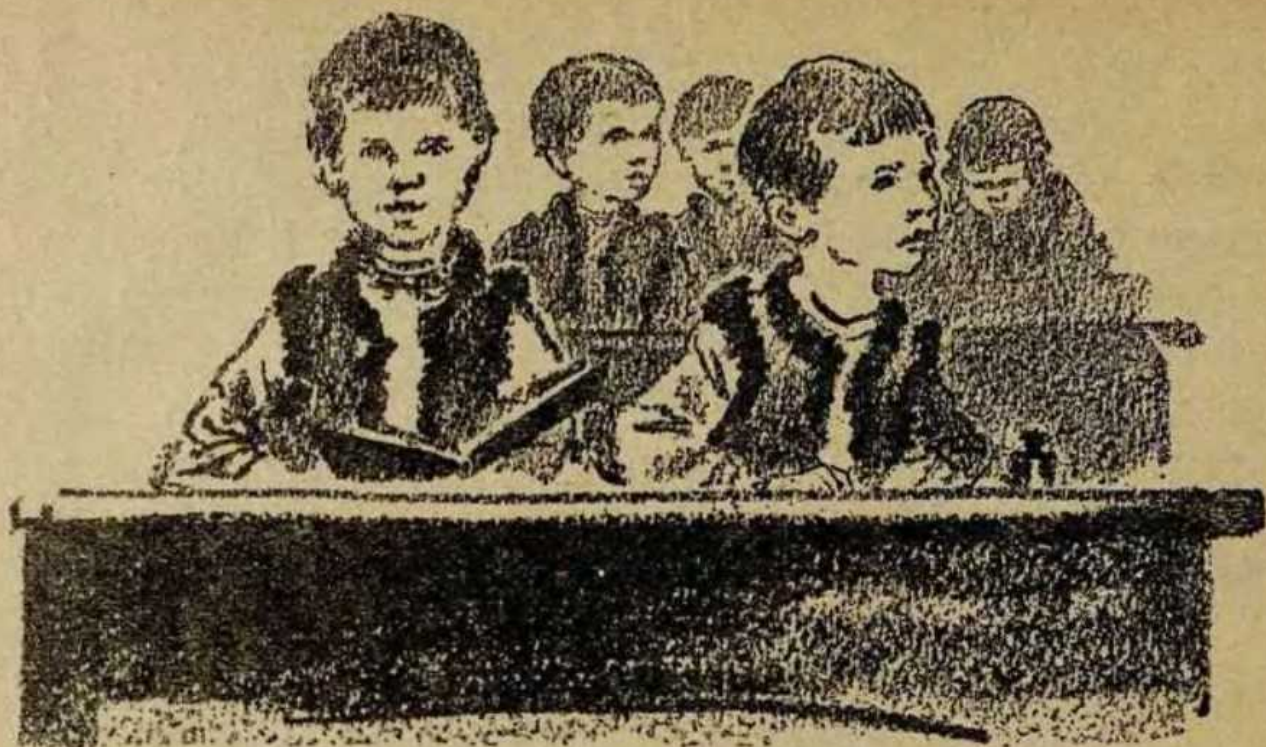
Сорок лет прошло с тех пор, как в маленькой деревянной кузнице в нашей слободе про-



звучал последний раз сигнал кузнеца, сыгранный отцовским молотом по наковальне. Как все изменилось с того времени! Не только от кузницы, но и от всей тихой, патриархальной жизни в нашем закоулке не осталось и следа. Из веселой компании, которая беседовала вокруг кузнечной наковальни, раздувала мех, натягивала обручи на колеса, усердно била молотом по раскаленному железу и за чаркой водки рассказывала веселые анекдоты, наверное уже никого не осталось в живых. А веселье и живость многих из них погасила тяжелая жизнь задолго до их смерти. И, наверное, в ту пору никто не предполагал, что и кузница и компания, собравшаяся в ней, с ее дружным, радостным настроением останутся живыми и нетронутыми в душе маленького рыжеволосого мальчугана, который в одной рубашонке, босой сидел в углу возле огня и которого заботливый отец время от времени просил заслонить от прыгающих искр.

На дне моих воспоминаний до сих пор горит этот маленький, но сильный огонь. В нем проскальзывают синие, красные и золотистобелые лучи, как расплавленный, пылает уголь, а в глубине его сверкает что-то ослепительное, от чего одна за другой рассыпаются блестящие зындрьы. Это огонь в кузнице моего отца, и мне кажется, что я с детства захватил запас его с собой в далекий жизненный путь и что он не погас до сих пор.





## УРОК ЧИСТОПИСАНИЯ

В просторном втором классе начальной школы отцов василиан<sup>1</sup> тишина. Приближается урок «чистописания» — страшный для всех не столько сам по себе, сколько из-за особы учителя. В василианской школе все предметы преподают сами «святые отцы»<sup>2</sup>, а лишь для уроков чистописания они наняли светского человека, какого-то бывшего управляющего или надсмотрщика — пана Валько. Пану Валько до сих пор кажется, что он управляющий. С нагайкой, правда, теперь не приходится ходить, но от трости он не отказывается и никогда не упустит случая пустить ее в ход. Разумеется, дети, предоставленные во власть такого учителя хотя бы на час, дрожат заранее, и чистописание является для них наибольшим мучением.

---

<sup>1</sup> Школа при монастыре св. Василия.

<sup>2</sup> Монахи.



Один лишь маленький Мирон сидит спокойно, почти веселый на своей скамейке. Его удивляет тишина, наступившая в классе сразу после того, как один смельчак, высланный на разведку в коридор, вбежал в класс и крикнул: «Валько пришел!» Маленький Мирон еще не знает пана Валько. Мирон только что пришел из сельской школы, отец записал его во второй класс начальной школы отцов василиан, и сейчас первый урок — чистописания. И хотя Мирон был слаб в письме, не умел как следует ни пера взять в руку, ни вывести ровно палочки, но ведь он ребенок и не умеет еще бояться того, чего не знает. Он удивился, почему это сразу стало так тихо, но не смел спросить о причине ни у кого из соседей. Маленький Мирон еще плохо знаком с ними. Да в конце концов это его мало касается. Среди этой для других страшной и тревожной тишины он отдался любимейшему занятию — мечтам о своей родной стороне. Нельзя сказать, чтобы он грустил о ней. Он знал, что каждый понедельник будет видеть отца и мать. Он думал только о том, как будет хорошо, когда летом он придет домой, будет свободно бегать по лугам, сидеть над речкой или бродить по ней, ловя рыбу; это были скорее радужные, веселые, светлые, а не печальные мысли. Маленький Мирон наслаждался красотой природы, которая расцветала в его воображении среди серых холодных стен василианской школы, и не думал о собиравшейся над классом грозе.

— Почему ты не приготовил тетрадь для письма? — тихонько спросил Мирона сосед, толкая его под бок.

— А? — очнулся Мирон, так бесцеремонно разбуженный от своего золотого сна.



— Тетрадь приготовь для письма! — повторил товарищ и показал Мирону, как положить тетрадь, как перо и чернила согласно наставлениям пана Валько.

— Идет, идет уже! — пронесся шопот по классу, будто при приближении какого-то грозного царя, когда в коридоре зазвучали шаги учителя чистописания.

Вскоре отворилась дверь класса, и Валько вошел. Мирон взглянул на него. Учитель своей наружностью совсем не напоминал царя. Это был человек среднего роста, с коротко обстриженными волосами на круглой бараньей голове, с короткими рыжими усами и рыжей испанской бородкой. Его широкое лицо с сильно развитыми челюстями и большими оттопыренными ушами выражало тупое упрямство и плотоядность. Маленькие лягушачьи глазки сидели глубоко в орбитах и сверкали оттуда как-то злобно и неприязненно.

— А ну! — грозно крикнул он, закрыв за собой двери класса и помахивая гибкой тростниковой палочкой. И как колосья ржи от ветра в летний облачный день, так от этого крика склонились головы восьмидесяти пяти школьников над тетрадами с синими и красными линейками.

У каждого школьника перо дрожало в руке. Один только маленький Мирон, который еще не знал характера учителя, сидел, обернувшись лицом к классу, и всматривался в нового учителя.

— А ты чего? — рассвирепев, крикнул на него Валько и направился прямо к нему.

Маленький Мирон так и остолбенел от неожиданности и испуга. В каком-то бессознательном порыве он обернулся и придал своему

телу такое же положение, в каком уже с мину-  
ту трепетали его товарищи.

Валько взял в руки мел, подошел к доске, размахнулся и начал писать. Сначала он писал только буквы, большие и маленькие, гласные и согласные, без всякого, впрочем, разбора. Затем он дошел до слов и наконец до целых изречений, как, например: «Бог сотворил свет», «Человек имеет две руки», «Земля — мать наша». Исчерпав таким способом свою премудрость, проявив вполне в многочисленных выкрутасах и длинных, как бесконечность, и ровных, как колбасы, хвостиках свое умение красиво писать, Валько положил мел, отступил от доски, любуясь, оглянул еще раз исписанную доску и, обернувшись к трепещущему классу, грозно крикнул:

— Писать!

С этой минуты его ученая деятельность благополучно кончилась и началась деятельность надсмотрщика. Чтоб наглядно показать это, он с силой щелкнул пальцами, отряхивая с них ученую меловую пыль, и вместо мела взял в руки свою трость. И как орел сверху устремляется на добычу, так и он, оглядев класс, сошел с возвышения и начал свой обход.

Первый, к кому направил его злой рок, был маленький, слабый и запуганный мальчик. Весь в поту, он, склонившись над тетрадью, изо всех сил старался удержать перо дрожащими пальцами и каждую минуту смотрел на доску, пытаясь вывести на бумаге такие же крючки, палочки и колбасы, какие вывела на доске искусная рука надсмотрщика. Но рука его дрожала, крючки, палочки и колбасы получались ломаными, неровными, непослушное перо все время крутилось в пальцах, скрипело, брыз-



гало, как будто сердилось и хотело поскорее от них избавиться.

Валько стал над ним, словно палач над душой, и, злобно усмехаясь, не говоря ни слова, начал приглядываться к его работе. Бедный мальчик почуял беду и окончательно потерял всякую власть над своей рукой и над непослушным пером.

— Это ты так пишешь? — медленно процедил Валько, но тем быстрее свистнула в воздухе его тросточка и змеей обвила плечи бедного мальчика.

— Ой-ой-ой! — взвизгнул тот, но сразу же затих, встретив грозный, змеиный взгляд учителя.

— Ты не умеешь писать лучше? — спросил Валько.

— Умею, умею... — лепетал мальчик, сам не зная, что говорит. Учитель-надсмотрщик, возможно, поверил, что мальчик умеет лучше писать и что пишет плохо лишь в шутку или, может быть, из большой любви к его трости.

— Ну так смотри же! — И Валько пошел дальше, не проверив, какие же плоды принесла его наглядная наука.

Впрочем, ему не было дела до этих плодов — он был теперь только надсмотрщиком и ничем больше. Его взор обратился в другую сторону и высмотрел новую жертву в дальнем углу класса. Там сидел еврей, который по привычке писал справа налево, стараясь вывести выкрутасы Валько от правой руки к левой, от конца строки к началу. Одну строчку он уже написал таким образом и начал другую. Уже написанная, законченная строчка выглядела еще так-сяк, но новая, незаконченная, начатая с конца бросилась в глаза Валько.

— А ты как пишешь, Мойше?! — закричал он, подсакивая к мальчику.

Валько всех евреев в классе звал «Мойше», кроме сыновей богатых местных тузов, к которым питал глубокое уважение. Мальчик по имени Йона Туртелтауб, услышав этот возглас и увидев подскочившего врага, растерялся, съежился, как улитка в своей раковине, и перестал писать.

— Ха-ха-ха! — хохотал Валько, присмотревшись к его писанию.

— Пан профессор... <sup>1</sup> — начал мальчик и запнулся.

— Иди сюда!

И, не ожидая, когда Йона выйдет из-за скамьи, Валько взял его за ухо и вытащил на середину класса.

При виде бедного дрожащего Йонки, у которого от страха текли слюни, весь класс громко захохотал, хотя каждый из школьников тоже дрожал и ежился. Но такова уж сила власти тирана, что достаточно тирану усмехнуться, как все его подчиненные будут хохотать, не сознавая того, что они, собственно, хохочут над своим несчастьем.

— Иди к доске! А ну, пиши!

Валько стер собственной рукой часть своего писания и сунул в руки мальчику мел. Тот начал писать по своей привычке справа налево. Класс снова захохотал. Валько усмехнулся, но его лицо тотчас же помрачнело, он обернулся к последней лавке, где сидели самые большие и сильные школьники, и крикнул:

— А ну, дайте ему!

---

<sup>1</sup> В Западной Украине учителя из почтительности называли «паном профессором».



Мальчонка задрожал всем телом и что-то забормотал, но к нему быстро подскочили два палача и повели на возвышение. В классе стало тихо. Вместо смеха на всех лицах выступила бледность; только болезненный визг Йонки звучал посреди каменных стен василианского монастыря.

— Хватит с него! — сказал Валько, и Йона, всхлипывая, пошел на свое место.

Выполнив это высокопедагогическое дело, Валько снова начал обход класса, и снова посыпались удары его трости на плечи и руки бедных мальчиков.

Какое впечатление произвела эта наука на Мирона, сказать невозможно. Он все время дрожал, как в лихорадке; в ушах у него шумело, в глазах кружилось, как во время бури. Ему казалось, что эта буря его не минет, что удары страшного учителя сыплются на него. Написанные слова и строчки прыгали перед его глазами, надувались и путались и казались еще хуже, чем были на самом деле. Он и сам не заметил, когда перестал писать: серая пелена застилала его глаза.

— Это ты так пишешь?! — крикнул Валько над его головой.

Мирон встрепенулся, схватил перо, обмокнул в чернила и, как тура за рога, поволок по бумаге.

— Ты что, не знаешь, как держать перо?

— Не знаю, — прошептал Мирон.

— Что?! — заревел Валько. — Разве я тебе не показывал десятки раз?

Изумленно уставился Мирон на разъяренного учителя. Но Валько молча ударил мальчика кулаком по лицу. Маленький Мирон, как под-



резанный, повалился на скамейку, а со скамейки на пол. Кровь залила ему лицо.

— Подымите его! — крикнул Валько.

С задней скамьи подбежали двое, те самые, которые за минуту до этого пороли Йонку, и подняли бесчувственного Мирона. Его голова не держалась на шее, клонилась вниз, как у мертвеца.

— Бегите за водой! — скомандовал Валько и еще раз посмотрел на Мирона.

— Что это за мальчик? — спросил он.

— Мирон, — отвечал самый старший, самый сильный в классе мальчик, которого святые отцы назначили старостой над товарищами.

— Чей он? — расспрашивал Валько.

— Сын одного мужика из Н.

— Мужичий сын! Тьфу, и какого чорта лезут сюда эти мужики! — проворчал Валько.

У него отлегло от сердца. Он начал было немного побаиваться за свой поступок, но раз мужичий сын, значит можно его бить и обижать, как хочешь: никто за мужичьего сына не заступится.

Валько не ошибся в своем расчете: никто не заступился за мужичьего сына. Бесчеловечный поступок учителя-надсмотрщика сошел для него благополучно, так же как и многие его бесчеловечные поступки. Только в сердце мужичьего сына он не прошел бесследно, а заронил первое зерно возмущения и вечной ненависти ко всякому гнету и тиранству.





## КАК ГРИЦ УЧИЛСЯ

### I

Гуси совсем ничего не знали об этом. Еще в то самое утро, когда батько задумал отвести Грица в школу, гуси не знали об этом намерении. И уж, конечно, о нем не знал сам Гриц.

Он, как всегда, встал рано, позавтракал, немножко поплакал, почесался, взял прут и вприпрыжку погнал гусей из сарая на пастбище.

Старый белый гусак, как всегда, вытянул к нему свою маленькую голову с красными глазами и широким клювом, зашипел, а потом, тараторя с гусынями о чем-то неинтересном, пошел вперед. Старая сизая гусыня, как всегда, не хотела идти со стадом, а потащилась за мостик и канаву, за что Гриц огрел ее прутом и назвал «бродягой» — так он имел обыкновение называть все, что не подчинялось его высокой власти на пастбище.



Итак, совершенно очевидно, что ни белый гусак, ни сизая гусыня, вообще ни один гусь из всего стада, хоть было их в нем целых двадцать пять, не знали о скором перемещении их повелителя и воеводы на иной, далеко не столь почетный пост.

И вот, когда вдруг пришло неожиданное известие, когда сам батько, возвращаясь с поля, покликнул Грица домой и там отдал его в руки матери, чтобы она вымыла, вычесала и как следует придела его, и когда потом батько взял его с собой и, не говоря ни слова, повел его, перепуганного, вниз через выгон, и когда гуси увидели своего недавнего предводителя в совершенно измененном виде — в новых чоботах, в новой войлочной шляпе и подпоясанного красным ремнем, — среди них пронесся дружный и очень громкий крик изумления. Белый гусак подбежал близко к Грицу с вытянутой шеей, будто хотел к нему хорошенько присмотреться; сизая гусыня тоже вытянула голову — долгое время не могла ни слова вымолвить от сильного волнения и наконец быстро залопотала:

— Куда-да-да?

— У, дульная! — гордо заметил Гриц и немного отвернулся, будто хотел сказать: «Эге, погоди, не в такие я теперь паны выскочил, чтобы еще отвечать тебе на твои гусячьи вопросы!»

А впрочем, он, может быть, потому не ответил, что и сам не знал.

Пошли в гору селом. Батько ничего, и Гриц ничего. Пришли к большому старому дому под соломенной крышей с трубой наверху. К этому дому шло много ребят, таких, как Гриц, и по-



больше. За домом по огороду ходил пан в жилетке.

— Гриц! — сказал батько.

— Га! — сказал Гриц.

— Видишь эту хату?

— Вижу.

— Запомни себе — это школа.

— Ба, — сказал Гриц.

— Сюда ты будешь ходить учиться.

— Ба, — сказал Гриц.

— Веди себя хорошо, не балуй, пана профессора слушай. Я иду сказать, чтоб он тебя записал.

— Ба, — сказал Гриц, почти совсем не понимая, что говорил отец.

— А ты иди с этими мальчиками. Возьмите его, мальчики, с собой!

— Иди! — сказали мальчики и взяли Грица с собой, а батько пошел пока в огород поговорить с учителем.

## II

Вошли в сени, где было совсем темно и страшно воняло прошлогодней гнилой капустой.

— Видишь — там? — сказал Грицу один мальчик, указывая в темный угол.

— Вижу, — дрожа, сказал Гриц, хотя ничего не видел.

— Там яма, — сказал мальчик.

— Яма! — повторил Гриц.

— Если будешь шалить, то учитель посадит тебя в эту яму и ты будешь сидеть там всю ночь.

— Я не хочу! — вскрикнул Гриц.

В это время другой мальчик шепнул что-то

первому, оба засмеялись, а потом первый, нащупав школьную дверь, сказал Грицу:

— Постучи в дверь! Шибче!

— На сто? — спросил Гриц.

— Надо! Тут так водится, когда кто в первый раз приходит.

В школе было шумно, как в улье, но когда Гриц застучал кулаками в дверь, стало тихо. Мальчики потихоньку открыли дверь и втокнули Грица внутрь. В ту же минуту по его спине захлестали здоровые березовые розги. Гриц очень испугался и завизжал.

— Цыц, дурень! — кричали на него шутники-мальчики, которые, услышав стук, засели за дверью и устроили Грицу этот сюрприз.

— Ой-ой-ой-ой! — вопил Гриц.

Мальчики испугались, что услышит учитель, и начали его уговаривать:

— Цыц, глупый, это так водится! Кто в дверь стучит, того надо по спине постучать. Ты разве не знал?

— Не-е-е зна-ал! — всхлипнул Гриц.

— Почему не знал?

— Да я-а-а пе-е-лвый лаз в школе.

— Первый раз, а! — закричали ребята, будто удивляясь, как можно в первый раз быть в школе.

— Ну, тогда тебя надо угостить! — сказал один, подскочил к доске, взял из ящичка хороший кусок мела и подал Грицу: — На, дурень, ешь, да скорее!

Все молча глядели на Грица, который вертел в руках мел, а потом потихоньку положил его в рот.

— Ешь, дурень, да поскорей! — напоминали ребята, давясь от смеха.



Гриц стал хрупать мел и наконец насилу-насилу съел его.

Хохот в школе раздался такой, что окна зазвенели.

— Цего смеетесь? — спросил удивленный Гриц.

— Ничего, ничего. Может, хочешь еще?

— Не, не хочу. А сто это?

— Так ты и этого не знаешь? Вот глупый! Да это иерусалим такой, это очень вкусно.

— Ой, не очень вкусно! — сказал Гриц.

— Это ты еще не разобрал. Это должен есть каждый, кто в первый раз приходит в школу.

В эту минуту вошел учитель. Все ребята, как испуганные воробьи, метнулись к скамейкам, только Гриц остался стоять, со слезами на глазах и с губами, измазанными мелом. Учитель грозно приблизился к нему.

— Как зовут? — крикнул он.

— Глиц.

— Что за Гриц? Ага, ты новый! Почему не сидишь на скамейке? Чего плачешь? Чем победился? А?

— Это я ел елусалим.

— Что? Какой иерусалим? — допытывался учитель.

Ребята опять давились от смеха.

— Да лебята давали.

— Какие ребята?

Гриц оглянулся на ребят, но не мог ни одного узнать.

— Ну-ну! Иди садись и учись хорошенько, а иерусалима больше не ешь, а то будешь бит.

Началось ученье. Учитель что-то говорил, показывал дощечки, на которых были нарисованы какие-то крючки и палочки, ребята что-то кричали, когда учитель показывал новую дощечку, а Гриц ничего этого не понимал. Он даже не смотрел на учителя, а ему очень забавными казались мальчики, что сидели вокруг него.

Один ковырял пальцем в носу, другой сзади все старался воткнуть Грицу в ухо тоненький стебелек, третий очень усердно работал, выдергивая из своего старого кафтана нитки. Перед ним на нижней доске парты уже лежала их целая куча, а он все дергал и дергал изо всей силы.

— Зачем ты их делгаешь? — спросил Гриц.

— Буду дома с болсцом есть, — ответил шепеляво мальчик.

И Гриц долго размышлял над тем, не смеется ли над ним этот мальчик.

— А ты, Гриц-убогий, совсем не слушаешь! — закричал на него учитель и так крутнул ему ухо, что у Грица невольно слезы навернулись на глаза.

Он так перепугался, что долго не только не мог слушать, а вообще позабыл обо всем на свете. Когда наконец он опомнился, ребята уже читали склады на табличках, которые раскладывал и складывал учитель. Они неумоимо по сто раз нараспев повторяли: «а-ба-ба, га-ла-ма-га». Грицу, неизвестно почему, это очень понравилось, и он начал своим пискливым голоском раньше всех выкрикивать:

— А-ба-ба, га-ла-ма-га.

Учитель уже готов был признать его очень



прилежным и способным мальчиком и, желая еще лучше убедиться в этом, переставил буквы. Неожиданно он выставил перед учениками буквы «баба», но Гриц, глядя не на них, а только на учителя, тонким певучим голосом крикнул:

— Галамага!

Все расхохотались, не исключая и учителя, только Гриц удивленно оглянулся и все так же громко сказал своему соседу:

— Поцему ты не клицис «галамага»?

Бедняга опомнился лишь тогда, когда учитель за «понятливость» вытянул его розгой по спине.

— Ну, и чему же тебя там в школе научили? — спросил батько, когда Гриц в полдень вернулся домой.

— Мы учили «а баба галамага», — ответил Гриц.

— А ты сумел? — спросил батько, не входя в то, что это за такая диковинная наука.

— Да уз сумел, — ответил Гриц.

— Ну, и дальше так учись! — похвалил батько. — Как тут в селе выучишься, пойдешь в город в большую школу, а потом выйдешь в попы. Жинка, а дай-ка ему еще поесть.

— Ба, — ответил Гриц.

#### IV

Прошел ровно год с того важного дня. Надежды отца на блестящее будущее Грица давно развеялись. Учитель прямо сказал ему, что Гриц — «набитый болван» и что отец лучше сделает, если заберет его назад домой и заста-

вит гусей пасти. И действительно, после года школьной науки Гриц возвращался домой таким же умным, как был год назад. Правда, «а баба галамага» он выучил крепко наизусть, и часто даже во сне с его уст слетало это диковинное слово, составлявшее как бы порог всякой мудрости, которого ему не суждено было переступить.

Но дальше этого слова Гриц в науке не продвинулся. Буквы как-то путались перед его глазами, и он никогда не мог узнать их в лицо — которая «ш», а которая «т», которая «люди», а которая «мыслете».

О чтении уже нечего и говорить. Была ли причина этого в его непонятливости или в плохом преподавании учителя, неизвестно; верно лишь то, что, кроме Грица, таких «набитых болванов» среди школьников в том году было восемнадцать из тридцати, и все они как один в течение того школьного года жили прекрасной надеждой на то, как будет чудесно, когда они освободятся от ежедневных розог, подзатыльников, тумачков, оплеух и головомоек и вновь появятся в полном блеске и величии на своем пастбище.

Уж кто-кто, а Гриц наверняка больше и чаще всех об этом думал. Проклятый букварь, который он за год работы над научными вопросами изорвал и искрошил чуть ли не в сечку, проклятое «а баба галамага» и проклятые учительские понукания и «поощрения» к науке так надоели ему, что он даже похудел и побледнел и ходил все время как во сне. Наконец бог смиловивился и послал месяц июль. Батько тоже смиловивился и сказал однажды утром:

— Гриц!



— Га? — сказал Гриц.

— С нынешнего дня ты уже не будешь ходить в школу.

— Ба, — сказал Гриц.

— Сними сапоги, шляпу и ремень — надо их убрать для воскресенья, а ты подвжись лычком, возьми лопух на голову да беги гусей пасти.

— Ба! — сказал радостно Гриц.

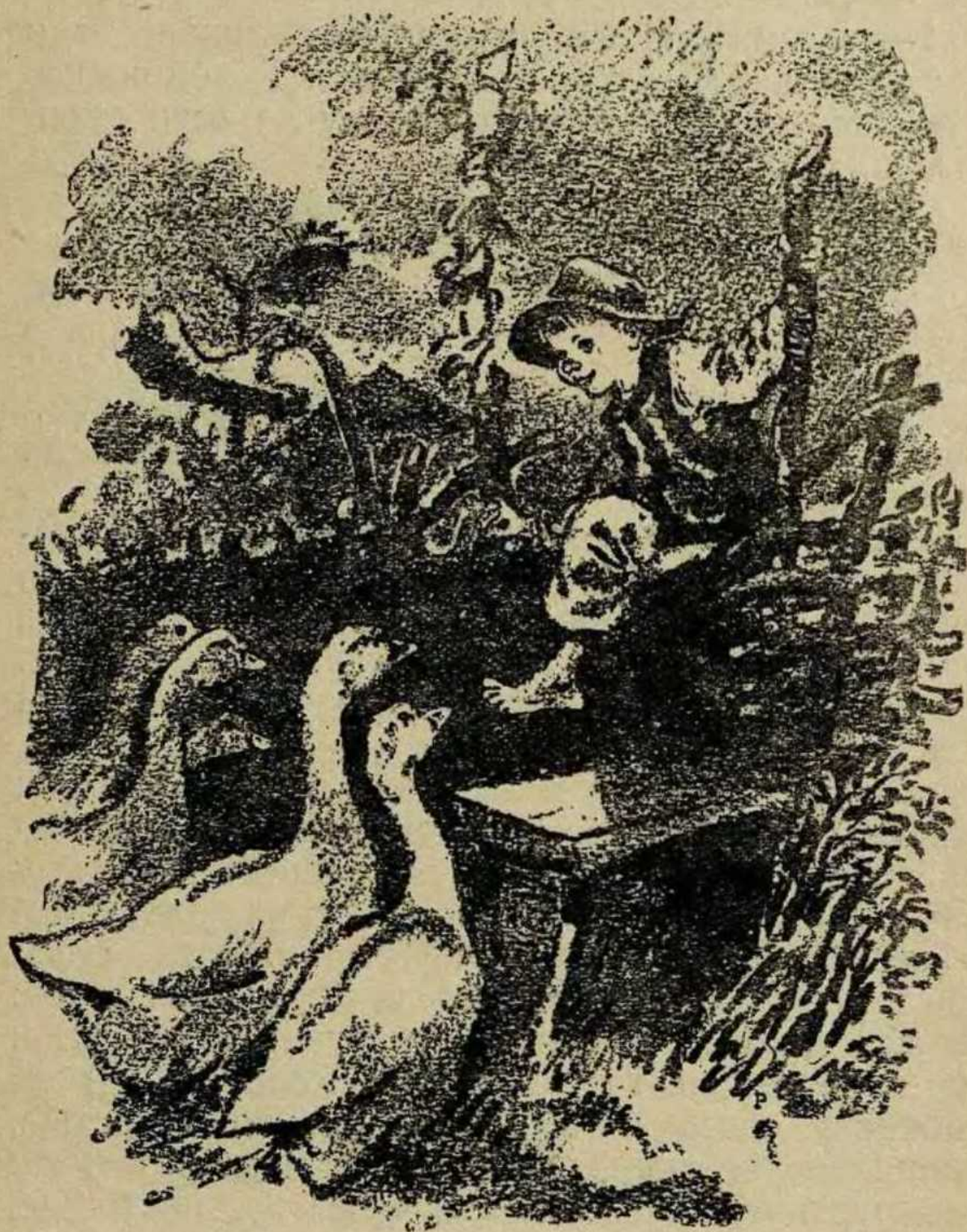
## v

Гуси, конечно, — глупые гуси и на этот раз не знали о радостной перемене, которая их ожидала.

Весь год школьного ученья Грица их пас маленький соседский мальчик Лучка, который, конечно, только и делал на пастбище что копал ямки, лепил пирожки из грязи и обсыпался пылью. О гусях он совсем не заботился, и они паслись сами.

Не раз им случалось забрести в овес, и тогда им приходилось переносить от потерпевшего много проклятий и даже побоев. К тому же несчастье в тот год несколько раз зловещим крылом коснулось стада. Пять молодых гусей и десять гусынь хозяйка продала в городе; тяжело было остальным разлучаться с ними. Старую серую гусыню убил хворостиной за потраву сосед и с варварской жестокостью, привязав бездушный труп за лапку к той же хворостине, волок его так через все пастбище, а потом закинул хозяину на сарай. А одного молодого гусака, красу и гордость стада, убил коршун, когда тот однажды отбилсся от своей родни. Но все же, несмотря на все эти тяжелые







и незаменимые утраты, стадо в этом году было больше, чем в прошлом. Благодаря белому гусаку и сизой гусыне да еще двум или трем их дочкам стадо в этом году выросло до сорока с лишним штук.

Когда Гриц появился среди них с прутом, знаком своей наместнической власти, сразу все глаза обратились на него, и было слышно лишь тихое изумленное шипение. Но ни белый гусак, ни сизая гусыня не забыли еще своего прежнего доброго пастыря. С громкими криками радости, хлопая крыльями, они бросились к нему.

— Где-где-где? — лопотала сизая гусыня.

— Вот же в сколе был, — гордо ответил Гриц.

— Ох! Ох! Ох! — дивился белый гусак.

— Не вѣлис, дулень? — крикнул на него Гриц и хлопнул его прутом.

— А сьто-сьто-сьто? А сьто-сьто-сьто? — лопотали, собираясь вокруг него, другие гуси.

— Это сто я выучил-то? — сформулировал их вопрос Гриц.

— Сьто-сьто-сьто? — галдели гуси.

— А баба галамага, — ответил Гриц.

Снова изумленное шипение, как будто ни одна из этих сорока гусиных голов не могла понять такой глубокой мудрости. Гриц стоял гордый, недосягаемый.

И вдруг белый гусак взял слово:

— А баба галамага! А баба галамага! — закричал он своим громким металлическим голосом, выпрямившись, высоко подняв голову и хлопая крыльями.

А потом, обращаясь к Грицу, прибавил, как будто затем, чтобы еще больше пристыдить его:



— А кши, а кши!

Гриц был сломлен, посрамлен. Гусак в одну минуту перенял и повторил ту мудрость, которая стоила ему года ученья!

«И поцему они его в сколу не отдали?» подумал Гриц и погнал гусей на луг.





## КАРАНДАШ

Прошу ни за что на свете не думать, что я рассказываю вам какую-нибудь выдумку. Нет, речь в самом деле идет о карандаше, да еще не о целом, а о кусочке — так дюйма в три длиной. А если кто скажет, что в три с половиной, я тоже не пойду с ним к войту<sup>1</sup> судиться. Но я уж наверное знаю, что четырех-то дюймов в нем не было. Это я мог бы, как говорят юристы, подтвердить под присягой или, как говорят наши ясеничане, «побожиться и поклясться на чем свет стоит».

Три с половиной дюйма длиной, не больше, был герой этой повести.

Немало лет прошло с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз, то есть как я его видел, так как он своим очиненным носиком

---

<sup>1</sup> В о й т — староста.



вряд ли мог меня видеть; да притом он целых полтора дня лежал в моей школьной сумке — в крошечной тьме. Чтоб не соврать, с тех пор прошло не меньше шестнадцати лет — довольно времени как будто, чтобы забыть и какого-нибудь настоящего друга. А я не забыл его, этот небольшой кусочек карандаша в оправе из темнокрасного дерева, шестигранный, покрытый желтым лаком, с серебряной вдавленной надписью «Mittel» на тупом конце; с другого конца он был очинен не слишком остро и не слишком тупо — как раз так, как нужно деревенскому школьнику.

В таком виде лежал он однажды зимним утром на снегу во дворе ясеницкой школы, как раз возле дорожки, которую протоптали школьники. Это было чудесное ясное утро. Мороз трещал бешеный; в воздухе носились мелкие, совсем прозрачные снежинки, заметные только по бриллиантовому блеску, который зажигали в них солнечные лучи. Карандаш не застрял в замерзшем искристом снегу, а лежал совсем сверху. Его желтый лак блестел на солнце, а серебряная надпись «Mittel» виднелась издалека. Верно, кто-нибудь из школьников потерял его.

Он и лежал так, вытянув свой черный заостренный носик к стенам школы, будто старался указать каждому прохожему, что там его настоящее место, будто просил своим серебряным взглядом, чтоб его взяли из этой хотя и прелестной, но очень холодной постели и отнесли туда, в школу, откуда далеко по селу разносился шум ребят, ожидавших пана профессора.

Скажите же теперь сами по совести, что бы вы сделали, если бы вам случилось увидеть



такой «Mittel», и притом в эдаком не совсем соответствующем его «чину» положении?

Я думаю, что девяносто процентов из вас, не подозревая в нем героя не только повести, но даже газетной заметки или маленького объявления, подняли бы его и просто спрятали в карман. Другие десять процентов, наверно, даже не нагнулись бы за ним.

Я, сказать по правде, принадлежал к этим девяноста процентам. Не подозревая в карандаше ничего дурного, я поднял его и, не имея кармана, положил в кожаную школьную сумку, где лежали мои книжки.

Я был бедным деревенским мальчиком, у меня еще никогда в жизни не было карандаша, и я всегда должен был писать этим проклятым гусиным пером, которое так страшно капало, брызгало и скрипело под нажимом моей руки. А теперь я вдруг нашел карандаш! Да еще какой красивый! Правда, я видел его лишь один миг, еще когда он лежал на снегу, а потом, схватив рукой, быстро сунул в сумку, будто боялся, как бы солнце, которое так ярко светило, не украдо его у меня из рук.

И еще другая интересная штука: при всей этой операции мне и в голову не пришло, чтобы школьник мог его потерять, — слышите — даже в голову мне не пришло!

Ну что вы! Какой же тут у нас школьник теряет карандаши! Это, должно быть, бог знает какой незнакомый пан приезжал к пану профессору, ну и, наверно, это он как-нибудь странным образом потерял этот карандаш. А может быть, это был еврей-торговец, которому учитель в прошлом году продал корову. Может быть, этот карандаш лежал тут еще с прошло-

го года и никто его, бедного, не видел. А может быть, он упал ночью с неба вместе со снегом.

Вот ведь бабуня рассказывала, что часто лягушки падают с неба; почему бы и карандашам не падать?

Так рассуждал я, направляясь через двор в школу. Что же, разве шестилетнему мальчику нельзя так рассуждать? А ведь нет! Мне очень понравился этот карандаш. Я держал руку в сумке, а он был у меня в руке; я поворачивал его гранями туда и сюда, старался угадать его толщину, восстановить перед своими глазами его образ, — одним словом, моя фантазия, как мотылек вокруг цветка, неустанно кружилась и порхала вокруг карандаша. Она насильно отгоняла всякую мысль о том, что карандаш может принадлежать кому-нибудь из школьников и что, значит, мне придется возвратить его хозяину.

В классе уже было много школьников. Некоторые сидели на лавках и долбили заданный урок, по временам боязливо поглядывая на дверь, не идет ли учитель. Другие, похрабрее, ходили по классу, дрались, толкались между лавками. Малевали на доске мелом каких-то уродов и потом быстро стирали их мокрой тряпкой, служившей вместо губки. О карандаше никто не спрашивал. Это меня очень обрадовало, и я быстренько, будто крадучись, юркнул на вторую лавку и сел на свое обычное место. Вынимая книжку, нужную для первого урока, я услышал в сумке стук карандаша о кожу и весь задрожал — не знаю, то ли от радости, то ли от какой-то неясной тревоги. Вот и учитель пришел. Началось ученье. Ничего. Вот и урок кончился, учитель вышел, опять



поднялся крик и шум — о карандаше никто ни слова! Я сижу, оглядываюсь вокруг и дрожу, как вор над краденым добром, боясь, что вот подойдет кто-нибудь и потребует у меня карандаш.

Но никто не требует карандаша. Школьники ходят и учатся, шалят и толкаются попрежнему.

Степан Лесков, мой хороший знакомый, приближается ко мне.

— Ой, ты, видно, арифметики нынче не знаешь, то-то зададут тебе трепку! А уж если учитель мне прикажет бить, ну, тогда только держись, бедняга!

Что за озорник этот Степан!

Он знает, что арифметика — моя слабая сторона, и любит всегда подразнить меня. Но я хорошо знаю, что он только шутит; а к тому же сегодня я не боюсь учителя, потому что арифметику (писать числа до ста) я выучил.

О, еще и как выучил! А кто вчера целый день писал пальцем цифры на стеклах густо запотевших окон?

— Ну-ну, ты не очень-то заботься о моей арифметике, — ответил я Степану. — Смотри, чтобы тебе самому не попало.

Чудеса! Чудеса, да и только! Я хотел ответить Степану тоже шутливо, с улыбкой, ласково, а ответил так как-то злобно, резко, таким сердитым голосом, что аж самому гадко стало. Я почувствовал даже, что все лицо у меня налилось кровью.

Степан постоял минуту передо мной, не говоря ни слова больше, поглядел на меня изумленными глазами, а потом отошел, видимо

огорченный тем, что обидел меня своей шуткой. Он так меня любил, этот тихий, ласковый, услужливый и добрый мальчик! За что я так резко ответил ему? За что огорчил я его? Ведь он говорил в шутку, и у меня не было никакой причины сердиться на него.

Такие мысли бродили у меня в голове, когда Степан отошел и молча сел на свою лавку. Степан был небольшой светловолосый мальчик лет восьми. Его отец, бедный крестьянин, жил по соседству с моим дядей, у которого я жил, и мы дружили между собой. Отец Степана, говорят, раньше был богатым человеком, но большой пожар и всякие другие несчастья разорили его хозяйство. Это был высокий, сильный человек с угрюмым лицом, всегда опущенной головой и грубым, резким голосом. Я невольно как-то боялся его и считал жестоким человеком. Но маленький Степан был весь в мать, тихую ласковую женщину с еще красивым, добродушным лицом и ясными серыми глазами. Поэтому я часто стоял на посту за забором, подстерегая, когда старый Лесков уйдет из хаты, чтобы хоть на минутку забежать к Степану поиграть с ним. Правда, мы часто ссорились, как все дети, но не надолго. Я, более горячий, легкий на ссору, а то и на драку, обычно первый шел и мириться. А Степан, всегда ровный, усмехался так мило, будто хотел сказать: «А видишь, я давно знал, что ты не выдержишь без меня!»

Но сейчас — за что я сейчас рассердился на Степана? Да нет, я хорошо чувствовал, что даже совсем и не рассердился на него. Напротив, его жалобный, грустный взгляд причинял мне боль. Я стыдился чего-то, сам не зная чего, и даже забыл о карандаше. Но когда впечатле-



ние остыло, прошло, а перед собой я увидел сумку, в которой мои нервы как будто издали чувствовали прикосновение карандаша, тогда моя фантазия возвратилась к нему, и вскоре про Степана и его грустный взгляд я совершенно забыл.

Снова вошел учитель, начался урок и прошел. О карандаше никто ни гу-гу.

Третьим уроком должна была быть арифметика. Обучение этой великой и страшной науке совершалось таким образом: учитель вызывал к доске кого-нибудь из учеников и велел ему писать мелом цифры, а все остальные мальчики должны были эти самые цифры писать в своих тетрадях. Учитель все время ходил вдоль скамеек, заглядывая в тетрадки, все ли пишут и так ли пишут, как следует.

Перед уроком арифметики я услышал в последнем ряду, где сидел Степан, какой-то шум, какие-то тревожные, отрывистые вопросы и ответы, но в общем гаме не мог разобрать, что там такое. Но все же меня что-то кольнуло, какое-то беспокойство пробудилось во мне. Я подумал: «Не буду сейчас вынимать карандаш, буду писать, как обычно, пером, хоть оно мне так опротивело».

Вот и учитель вошел. Передохнув минутку у стола, он встал и вызвал меня к доске. Я вышел испуганный, дрожащий, так как писание цифр, букв вообще было для меня твердым орехом. Всякие знаки выходили из моих рук кривыми, скрюченными, уродливыми, так что обычно походили на старый плетень, у которого каждый кол стремится в другую сторону, а поперечные хворостины торчат сами по себе и не могут встретиться с колами. Но что было делать: вызывает учитель — надо итти. Я стал

около доски и взял в правую руку тряпку, а в левую мел.

— Тридцать пять! — крикнул учитель и оглянулся на меня. — Ах ты, болван, как ты мел держишь? Левшой будешь писать, да?

Я переменял в обеих руках несчастные орудия премудрости, потом поднял правую как мог выше и едва достал до половины доски.

Задача написать на доске число 35 была очень трудной, так как приходилось писать самые «крученые» цифры. Вчера, упражняясь пальцем на стеклах в писании цифр, я долго думал, как бы написать эту проклятую тройку так, чтобы сделать ее такой кругленькой и с таким зубчиком посредине. Спросить было не у кого, и я решил писать ее с середины, от зубчика, протянуть оттуда сперва верхний, а потом нижний каблучок. Так я научился писать дома и так же взялся теперь дрожащей рукой царапать на доске. А тут еще, как назло, рука трясется, сила, которой и так не много было, куда-то совсем пропала, так что как я ни стараюсь прижимать мел к доске, а проклятушие штрихи все выходят такие худые да тонкие, что их едва видно. С великим трудом я нарисовал тройку.

— А что, уже? — кричит учитель и оборачивается ко мне.

— Еще... еще нет, — отвечаю я и, обливаясь холодным потом, принимаюсь писать 5, разумеется опять по собственному методу, то есть начиная снизу.

— Что, что, что? — вскрикнул учитель и подбежал ко мне. — Как ты пишешь, как?

Я молчал. Дрожащая рука дотянула штрих



на доске. Пятерка была скорее похожа на Г, чем на круглобрюхое, гребнястое 5.

— Ах ты, свинячий приплод! (Обычный титул, которым учитель величал школьников.) Так ты не знаешь, как пишется пять?

И, не ожидая ответа на этот вопрос, учитель одной рукой ухватил со стола широкую линейку, а другой мою руку, из которой вылетел мел, и громкий шлепок раздался в классе. Моя ладонь налилась кровью и стала как будто толще, а под кожей словно мурашки забегали.

Сызмалу выносливый к боли, я не заплакал, только скривился.

— Так ты не знаешь, как пять писать? Не видал, как я писал? Вот смотри, как пишется пять, — вот так!

И пан профессор схватил мел и с размаху написал сначала на доске огромную пятерку, а потом на моем лице такую же самую (может быть, только не такую правильную и четкую) огромную пятерку.

— Пиши дальше, — крикнул он мне. — Сорок восемь!

Я взял мел и начал писать. Учитель смотрел еще минуту. Четверка удовлетворила его, и он опять стал ходить между скамейками.

— Почему не пишете? — крикнул он грозно ребятам, которые кто с усмешкой, а кто с испугом глядели на то, что творилось у доски.

На окрик учителя все головы склонились вниз, как рожь клонится от ветра, опуская к земле тяжелый колос.

— А ты, староста, как три написал? — спрашивает учитель одного. Вместо ответа, вместо объяснения удар линейкой по лапе.

— А это что над пятеркой? — спрашивает он другого.

— Капнуло с пера.

Опять удар линейкой.

— А ты, сват, почему не пишешь? — спрашивает третьего.

— Да я, па...пане профессор... — слышится сквозь слезы голос Степана Лескова.

— Что? — кричит учитель сердито.

— Я где-то карандаш потерял.

В этот момент из моей руки неизвестно почему выпал мел. Повторяю еще раз: неизвестно почему, ведь я был уверен, что карандаш, лежащий теперь спокойно в моей сумке, не принадлежит Степану. Ни за что на свете! А все же при этих его словах я так испугался, рука моя так затряслась, что мел, как угорь, выскользнул из моих рук.

Мое счастье, что заданное число уже было написано, — теперь я не смог бы написать его.

— Так, — крикнул учитель, — потерял! Поймай-ка, я научу тебя!

Чему, собственно, учитель хотел научить Степана, кто его знает! Мы, школьники, знали только, что он две недели назад очень поссорился с отцом Степана и, видно, искал лишь предлога, чтобы за отца отомстить мальчику. А кроме того, мы видели, что учитель сегодня немного пьян, а значит, без драки не обойдется.

— Марш на середину! — крикнул он Степану.

Бедный мальчик, верно, знал, что его ждет, и не очень торопился. Учитель ухватил его за длинные светлые волосы и выволок на середину.

— Тут стой! А ты, — обернулся он ко мне, — написал уже?



— Написал.

— Садись! А ты иди к доске!

При этих словах учитель толкнул Степана. Я как-то легче вздохнул, потому что сам сидел на безопасном месте, а еще потому, что думал — Степану уже ничего не будет за карандаш, если учитель послал его к доске, — я знал, что писать-то Степан умеет. Только слыша, каким сердитым голосом диктовал учитель Степану цифры, как он злился, видя, что Степан пишет правильно, я чего-то опасался. Мне было так тяжело, будто что-то шептало мне внутри, что если со Степаном случится что-то дурное из-за карандаша, то в этом будет и моя вина. Каким образом такие странные мысли сплетались в моей голове, не знаю, но знаю наверное, что я дрожал, как осиновый лист.

Степан пишет цифры и пишет, уже исписал всю доску. Учитель все время смотрит на него, чтобы поймать его на чем-нибудь. Но нет.

— Довольно! — кричит он. — А теперь ложись!

— Да за что, пане профессор? — говорит Степан.

— Что?! За что? Ты еще спрашиваешь? Сейчас же ложись!

Мне будто что-то горло сдавило, когда я услышал эти слова.

Учитель ищет розгу в последней парте, а бедный Степан, бледный, дрожащий, стоит у доски и мнет тряпку в руках.

— Да за что вы меня, пане профессор, бить хотите? — еще раз спрашивает Степан сквозь слезы, видя приближающегося с розгой в руках учителя.

— Ложись! — крикнул тот и, не ожидая



больше, схватил Степана за волосы, повалил его на стул и начал изо всей силы хлестать розгой.

Степан закричал от боли, но крик, кажется, только больше дразнил опьяневшего учителя.

— Чтобы ты знал в другой раз, как карандаши терять! — кричал он, задыхаясь, прерывающимся голосом, и розга свистела все сильнее, обвивая тело бедного Степана.

Что творилось со мной в эти долгие, страшно тяжелые минуты? Первой мыслью, которая мгновенно мелькнула у меня в голове, было встать и сказать, что во всем виноват я, что карандаш Степана у меня, что я нашел его и не отдал. Но страх перед свистом розги насильно прижал меня к месту, опутал мой язык, стиснул горло, как железными клещами. Крик Степана проникал в мою грудь, я весь обливался холодным потом, я ясно чувствовал боль, острую боль от розги, я чувствовал ее во всем теле и так живо, что все мои мускулы невольно сжимались и дрожали, а в горле что-то всхлипывало громко, на весь класс. Но тревога так сковала всех, что, несмотря на гробовую тишину, никто в классе не слышал моих рыданий.

А учитель все не переставал бить. Бедный Степан уже охрип, его лицо посинело от напряжения, пальцы судорожно впились в колени учителя, ноги болтались в воздухе, но розга не переставала свистать, и каждый ее свист, каждый удар о грубую полотняную сорочку Степана сотрясал и сдавливал тридцать детских сердец, вырывал новый крик отчаяния и боли из груди Степана.

Я не помню уже и не хочу вспоминать, что







делалось со мной в эти ужасные минуты, какие ощущения охватывали мое тело, какая боль пронизывала суставы, какие мысли мелькали в моей голове. Да мыслей и не было никаких! Я сидел холодный, бесчувственный, как камень! И теперь еще, через шестнадцать лет, когда я вспоминаю эту минуту, мне кажется, что она на долгое время оглушила меня, как удар камнем по темени, и что если бы в моем детстве было много таких минут, из меня вышел бы такой же болван, как те сотни, которых мы видим в каждой начальной школе нашего края, как те несчастные, забитые физически и духовно дети, нервы которых сизмала притуплены страшными, отвратительными сценами, а голова с шести лет одурманена учительской дисциплиной.

Наконец свист розги утих. Учитель выпустил Степана, и тот, обессиленный, измученный, покатился на пол. Учитель, красный как свекла, бросил розгу и сел на стул, с которого только что скатился Степан. Минуту он дышал, не говоря ни слова. Во всем классе было тихо, мертво, сумрачно. Слышно было лишь, как хрипел бедный мальчик, судорожно всхлипывая.

— Ты не встанешь? — прошипел учитель, толкая его ногой в бок.

Степан немного спустя едва-едва поднялся на ноги и встал, держась рукой за скамейку.

— Марш на место! И помни другой раз, как карандаши терять!

Степан пошел на место. В классе опять стало тихо. Учитель, видно, протрезвился немного и почувствовал, что плохо сделал, избив так мальчика. Он знал, что с Лесковым связываться



опасно. Мысль об этом еще сильнее раздражала его. Он вскочил и стал молча бегать по классу, тяжело дыша.

— А, негодяи, разбойники! — закричал он, неизвестно, на нас или на отсутствующих ясе-нецких граждан.

Долго бегают учитель по классу, сопит и бормочет что-то себе под нос, а потом оборачивается к нам и кричит:

— По домам!

Но и это обычно столь чудодейственное слово, оповещающее нас об освобождении хоть на день от тягот школьной премудрости, теперь было обращено будто к глухим.

Тревога и неуверенность оглушили всех школьников и лишили их слуха. Потребовался второй, более громкий окрик учителя, чтобы все встали на молитву. Когда после молитвы школьники поднялись со скамеек и стали выходить из класса, это делалось без обычного шума и толкотни; все шли медленно, боязливо поглядывая на учителя, который стоял у столика, пока все мальчики не вышли.

Каждый чувствовал себя как пришибленный. Степан шел всхлипывая, а когда уже около дверей взглянул на учителя, тот погрозил ему кулаком. Я шел почти самый последний, едва передвигая ноги. Я боялся и стыдился чего-то так страшно, что рад был бы в эту минуту провалиться сквозь землю. Не знаю, вероятно разбойник после совершённого убийства чувствует на сердце такую тяжесть, какую чувствовал тогда я. На Степана я прямо не мог посмотреть ни за что на свете. Я так живо представлял себе его боль, — нет, я страдал не меньше его, — а тут еще этот проклятый внутренний голос, который теперь все время шептал мне, что он

пострадал из-за меня, что карандаш — его! Да, теперь уже что-то ясно твердило мне, что это его карандаш я нашел. И чего бы, кажется, в таком случае проще, как подойти теперь к нему и отдать потерю. Не так ли? Так нет! Оно и хорошо бы, кажется, но тогда мне, пришибленному зараз и страхом, и жалостью, и стыдом, совершенно невозможно было сделать это. И не то что бы я еще теперь мечтал сохранить этот карандаш для себя — что вы! Он теперь, как камень, оттягивал мою сумку, издали обжигал мою руку. Я теперь ни за что на свете не прикоснулся бы к нему, не взглянул бы на него! Вот если бы кто-нибудь силой вырвал у меня сумку и вытряхнул из нее все так, чтобы и карандаш выпал, а Степан тогда мог бы его взять, — ах, как я был бы рад! Но этого не случилось, да и не до того было школьникам.

Выйдя из класса и из двора, все сразу обступили всё еще всхлипывавшего Степана и стали его расспрашивать, как и где потерял он карандаш и какой это был карандаш; некоторые громко ругали учителя, другие жалели Степана и говорили ему, чтобы он непременно пожаловался тятеньке.

— Разве я знаю, где я потерял! — всхлипывал Степан. — А что мне теперь тятенька скажет! Только что, позавчера, купили мне в городе, а я потерял. Ой-ой-ой! — заплакал бедный мальчик.

Он боялся отца не меньше, чем учителя.

— Да не плачь, глупый, не бойся, — утешали его мальчики, хотя, наверно, ни один из них не хотел бы очутиться в его шкуре.

— Ага, не плачь! — мрачно ответил Степан. — Да они меня убьют за карандаш! Шесть



крейцеров, говорят, они заплатили за него в городе... «А если, — говорят, — ты у меня его потеряешь, так шкура не твоя, слышишь?» Ой-ой-ой!

Я не мог слушать этого разговора. Каждое слово Степана кололо меня, как репейник. Я скорее побежал домой, дрожащий, бледный, задыхающийся.

— О, ты уж, верно, опять дрался где-то с мальчишками, — крикнула при виде меня тетка, — что приходишь такой загнанный, прямо как гончий пес! Ах ты, оболтус, негодник, бездельник, бродяга ты бездомный!

Тетка была еще девушка, лет двадцати с гаком. Она была «очень хорошая», — во всяком случае, это можно было сказать о ее языке, который не любил никогда «даром хлеб есть» и у которого никогда не было недостатка в словах.

Я повесил сумку с книжками на гвоздь и сел есть, не говоря ни слова. Потом сел у стола и взял книжку — не затем, чтобы учить то, что на завтра было задано: не до ученья мне было. Я сидел над книжкой, как пень, и в сотый раз читал все одни и те же слова, не понимая, что читаю и к чему это. Я старался не думать о Степане, об учителе и о старом Лескове, но их лица всё вспоминались мне, пронизывали меня холодом, мучили и беспокоили, как грешника беспокоят воспоминания о прежних грехах. Мне так хотелось, чтобы скорее настал вечер, но вечер, как заклятый, не приходил. Я боялся взглянуть на сумку с карандашом, как будто это была не сумка, а страшная нора, и не карандаш, а змея.

Как я измучился, пока настал вечер, не буду рассказывать. Какие страшные сны снились мне

ночью, как я кричал, будто бы убежал, прятался, как за мной бегали и летали ящерицы с острой мордочкой и крупной надписью «Mittel» на спине, как меня колол терновник с желтой блестящей корой и шестигранными шипами, очиненными на конце, — все это пусть тоже потонет во мраке забвения. Довольно того, что утром я встал как избитый или сваренный в чугуне, а тетка впридачу обругала меня за то, что я всю ночь метался, кричал и не давал ей спать.

Утром, прежде чем я ушел в школу, приходит из села дядя и, скинув с рук толстые суконные рукавицы, начинает рассказывать разные сельские новости.

— А за что это вчера учитель так Лескова Степана избил? — вдруг спрашивает он меня.

Этот вопрос страшно испугал меня, как будто меня вдруг кипятком обдали.

— Да... да... да говорит, что где-то по...по...по...

— Что ты, говорить не умеешь, что ли? — крикнула тетка. — Ну, и что там такое случилось со Степаном? — спросила она дядю.

— Да его так там вчера учитель избил за какой-то карандаш, что он чуть живой домой приполз.

— Да какой карандаш?

— А вот, купил ему отец в понедельник карандаш, а он вчера потерял. Учитель пьяный — и ну парня бить, будто он виноват. Понимаете, едва бедный мальчонка домой дополз. А тут еще пришел да и рассказывает, а старый медведь взбесился и давай колотить ребенка! За волосы да под ноги, да каблуками! Прямо страх! Старуха плачет, кричит, парень сомлел,



едва водой отлили, теперь, говорят, лежит, шевельнуться не может... Чтобы так над ребенком издеваться!..

Дядя еще не кончил, как я вдруг расплакался и прервал его рассказ.

— А ты чего? — спросил дядя удивленно.

— Одурел ты, что ли? — крикнула тетка.

— Я... я... я... — пролепетал я с плачем, но рыданья не дали мне докончить.

— Ну что, что? Говори! — сказал дядя ласково.

— Я... нашел... этот карандаш!

— Нашел? Где? Когда?

— Вчера, перед школой на снегу, — проговорил я уже смелее.

— Ну, и почему ты не отдал его Степану?

— Я не знал, что это его, а он не спрашивал.

— А потом, после школы?

— Я... я боялся.

— Боялся? Да какого же чорта лысого? — спросила тетка, но я ничего не ответил на этот вопрос.

— Ну, и где же этот карандаш?

— Да в сумке.

Дядя заглянул в сумку и вынул несчастный карандаш. Я не смел взглянуть на него.

— Ну смотрите, люди добрые, из-за такой дряни так парня избили! А пропади они все пропадом!

Дядя плюнул и вышел, захватив с собой карандаш. Меня тетка прогнала в школу. Я всхлипывал всю дорогу, и слезы невольно текли у меня по лицу, хотя на душе стало гораздо легче.

В этот день и всю следующую неделю Степан не приходил в школу — лежал больной.

• А на следующей неделе чего-то вдруг заболел учитель: дядя догадался, что, наверно, это старый Лесков хорошенько «обмолотил» его.

Так ли это на самом деле было или нет, этого мне точно не пришлось узнать.



## СОДЕРЖАНИЕ

Маленький Мирон . . .	3
В кузнице . . . . .	11
Урок чистописания . .	23
Как Гриц учился . . .	31
Карандаш . . . . .	43

для начальной школы

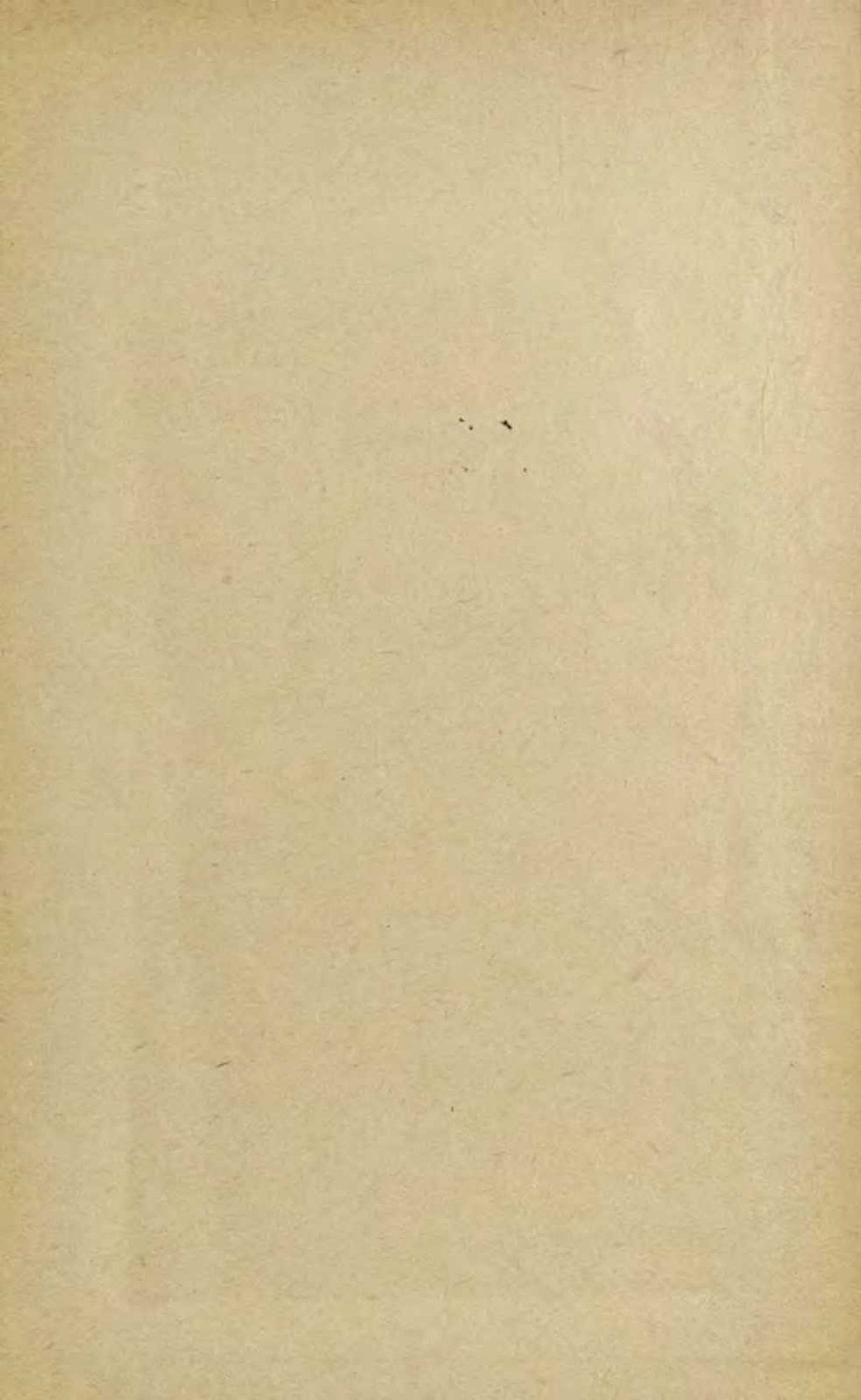
Ответственный редактор *Л. Кон.*  
Подписано к печати 20/IX 1941 г.  
4 печ. л. (2,64 уч. изд. л.). 26 048 зн.  
в печ. л. Тираж 50 000 экз. Л160 600.  
Заказ № 1623.  
Цена в переплете 50 коп.

---

Фабрика детской книги Детгиза  
Наркомпроса РСФСР. Москва,  
Сущевский вал, 49.









2002

Прев. 1969

~~34766~~

~~НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ  
ДЕТГИЗА~~

Цена 90 коп.